



Сергей Георгиевич Кара-Мурза
Спасти Россию. Как нам выйти из кризиса
Серия «Как Путину обустроить Россию»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6056805

Спасти Россию. Как нам выйти из кризиса / Сергей Кара-Мурза.: Алгоритм; Москва; 2013
ISBN 978-5-4438-0410-1

Аннотация

С.Г. Кара-Мурза – ученый, писатель, публицист, один из тех людей, к чьему мнению прислушивается и власть, и оппозиция. Его работы отличаются глубиной и огромным количеством приводимого в них фактического материала.

В данной книге С.Г. Кара-Мурза проводит анализ проблем, возникших в ходе кризиса государства и общества постсоветской России. Здесь изложены основные положения доктрины реформы, последствия ее реализации и главные угрозы для России, порожденные в ходе трансформации прежнего жизнеустройства.

Как всегда в работах С. Г. Кара-Мурзы, автор приводит тщательно разработанную программу по преодолению негативных черт в жизни нашей страны и выходу России из кризиса.

Содержание

Введение	4
Кризис в России и знания об обществе	6
Неолиберальная утопия	25
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Сергей Кара-Мурза Спасти Россию. Как нам ВЫЙТИ из кризиса

Введение

Надо признать, что реформы в России, начатые более двадцати лет назад, зашли в тупик. Почему так произошло? Отбросим предположения о том, что доктрина реформ являлась плодом сатанинского заговора против России. Но тогда остается признать, что ее замысел был в научном плане несостоятельным – он включал в себя ряд ошибок *фундаментального* и *тривиального* характера. Эти ошибки делались вопреки хорошо систематизированному историческому опыту России, вопреки предупреждениям множества советских и российских специалистов, вопреки предупреждениям видных зарубежных ученых. Этот факт требует рефлексии, ибо говорит об очень глубокой деформации всей системы норм научной рациональности в отечественном обществоведении.

Как известно, одна из главных идей, положенных в основание российских реформ, сводилась к переносу в Россию англосаксонской модели экономики. Эта идея выводилась из, казалось бы, давно изжитого примитивного евроцентристского мифа, согласно которому Запад через свои институты и образ жизни выражает некий универсальный закон развития в его наиболее чистом виде. Американские эксперты, работавшие в Москве, отмечают: «Анализ экономической ситуации и разработка экономической стратегии для России на переходный период происходили под влиянием англо-американского представления о развитии. Вера в самоорганизующую способность рынка отчасти наивна, но она несет определенную идеологическую нагрузку – это политическая тактика, которая игнорирует и обходит стороной экономическую логику и экономическую историю России».

Народное хозяйство и жизнеустройство любой страны – это большая система, которая складывается *исторически* и не может быть переделана исходя из доктринальных соображений. Выбор в качестве образца для построения нового общества России именно США – страны, созданной на совершенно иной, нежели в России, культурной матрице, – не находит рациональных объяснений. Трудно сказать, какие беды пришлось бы еще испытать российскому народу, если бы у реформаторов действительно хватило сил загнать Россию в этот коридор.

Дж. Грей пишет: «Значение американского примера для обществ, имеющих более глубокие исторические и культурные корни, фактически сводится к предупреждению о том, *чего им следует опасаться*; это не идеал, к которому они должны стремиться. Ибо принятие американской модели экономической политики непременно повлечет для них куда более тяжелые культурные потери при весьма небольших, чисто теоретических или абсолютно иллюзорных экономических достижениях».

Дело вовсе не в идеологии, речь идет об исторически заданных *ограничениях* для выбора модели развития. Можно говорить о рациональности неолиберализма – в рамках специфической культуры Запада и его экономической реальности. Но это вовсе не значит, что постулаты и доводы неолиберализма являются рациональными и в существенно иной реальности – например, в России. Это – элементарное правило. Еще в 1996 году американские эксперты, работавшие в РФ (А. Эмсен и др.), признали: «Политика экономических преобразований потерпела провал из-за породившей ее смеси страха и невежества».

Страх – понятная эмоция специалистов, чьи рекомендации привели к катастрофе. Но почему этот страх не был обуздан рациональным научным знанием? Объяснить этот феномен – приоритетная задача интеллигенции. Какова природа *невежества*, которое привело реформы к тяжелому кризису? Изживается ли это невежество сегодня?

Думается, что нет. Высшая научная элита страны в своих книгах, докладах и выступлениях в СМИ задает стандарты понятийного языка, критерии, логику и меру. Была создана и силой авторитета навязана большей части гуманитарной интеллигенции аномальная *методологическая парадигма*. В ней стали господствовать не нормы научной рациональности и не ориентация на достоверность и истину, а корпоративные и партийные интересы. На языке этой парадигмы, с ее логикой и мерой стала мыслить и изъясняться основная масса преподавателей, подготовленных ими дипломированных специалистов, а затем и политики, бизнес-элита, СМИ.

Преодоление этого явления, возвращение к нормам научной рациональности – сейчас является важнейшей для нас задачей.

Кризис в России и знания об обществе

Старшее поколение в течение последних 30 лет было свидетелем *несостоятельности* советского, а потом постсоветского обществоведения. Молодежь, может быть, этого так остро не чувствует, потому что основной провал обществоведения произошел раньше, чем она вошла в активную, сознательную жизнь. Это 80-е годы и первая половина 90-х годов XX века.

Говоря о провале обществоведения, мы имеем в виду его отказ как системы, как целостного института давать *достоверное знание* о главных процессах, происходящих в обществе, объяснять причины *главных противоречий* и вероятные *последствия* при том или ином ходе событий. Невыполнение этой главной функции не исключает, что при этом отдельные личности или малые коллективы ученых выполняют блестящие частные исследования, расширяют берестяные грамоты, пишут интересные монографии. Отказ системы заключается в том, что все эти блестящие частные работы не соединяются в знание и понимание массивных общественных процессов.

Поговорим о главных причинах этого провала, отвлекаясь от множества *отягчающих обстоятельств*, которые часто и принимают за причины. Их мы в дальнейшем, в ходе последующих лекций, будем добавлять, уточняя и приукрашивая картину. А сейчас сформулирую основные причины, как они видятся сегодня.

Сначала – банальные, очевидные вещи. Человек живет в трех «мирах» – мире *природы*, мире *техники* (искусственно созданной *техносфере*) и *обществе*. Все они сцеплены между собой, и знание о каждом блоке перекрывается с другими. И в то же время каждый из этих «миров» обладает достаточной автономией, чтобы стать предметом специального знания. Поэтому мы различаем *природоведение*, систему знаний о *технике* как материальной культуре и знание о *человеке и обществе*.

При этом знание об одной сфере становится инструментом познания в другой. Так, в знании о человеке используются целые блоки знания о технике – человека уподобляют машине, которая служит полезной моделью. Борьбу за существование зверей в джунглях переносят на мир человека в качестве метафоры, на которой основано социал-дарвинистское представление об обществе. Это прием познания, стимулирующий мысль, но часто – ведущий к ошибке. В то же время наблюдается *антропоморфизм* – проекция идеального типа человеческих отношений на природу.

Сравним образы животных у Льва Толстого и Сетона-Томпсона (его рассказы раньше были очень популярны). Толстой, с его утверждением любви и братства, изображает животных бескорыстными и преданными друзьями, способными на самопожертвование. Рассказы Сетона-Томпсона проникнуты рыночной идеологией в стадии ее расцвета, животные у него наделены чертами оптимистичного и энергичного бизнесмена, идеального *self-made man*. Если они и вступают в сотрудничество с человеком, то как компаньоны во взаимовыгодной операции.

Тем не менее, несмотря на заимствование метафор и аналогий из мира природы и техники, мы примерно одинаково представляем себе корпус знания об обществе, или *обществоведение*. Общество как самостоятельный объект наших наблюдений и размышлений поглощает оригинальность привнесенных метафор.

Эти знания и размышления возникли вместе с человеком, он сразу сгруппировался в человеческие общности и не пребывал долгое время в промежуточном состоянии *стада*. Появление разума резко усилило, ускорило эволюцию человека. Он возник, по историческим меркам, действительно очень быстро, как будто был *сотворен*. Человек сразу стал осознавать мир и себя в нем, создавать *знание* обо всех «трех мирах».

Сначала это было *мифологическое* знание, потом – *религиозное*. Накопление опыта, который упорядочивался и систематизировался, создавало массив *традиционного* знания. *Художественное* знание появилось сразу же, на самых ранних стадиях развития человека.

Таким образом, мы можем представить знание об обществе как сложную систему, которая включает в себя много разных способов познания и сохранения знаний о человеке и обществе. Эта система развивалась на протяжении всей жизни человечества, и никакой из видов этого знания не был устранен. Система надстраивается, появление новых типов познания увеличивает ее разнообразие.

До сих пор мы в огромной степени мыслим об обществе *мифологически*, т. е. пользуемся мифами, которые и создаются, и вытесняются другими, и разрушаются. Это – важная часть обществоведения. Мы пользуемся *здоровым смыслом*, быстро соединяя кусочки разного знания и принимая в срочном порядке по возможности лучшее решение. Мы постоянно обращаемся к накопленным многими поколениями *традиционным* знаниям (знаниям *ремесленного* типа). Литература, искусство дают современному культурному человеку очень большую часть знания об обществе, записанную на языке *художественных* образов. Этика, нравственность, идеология (которая появилась сравнительно недавно) – это тоже типы знания.

Но в XVII веке произошла огромная культурная мутация. В Западной Европе, перетекая одна в другую, произошли четыре революции. Религиозная революция – протестантская *Реформация* – изменила представления о Боге, о взаимодействии человека с Богом, а значит, и человека с человеком. Затем прошла *Научная* революция, которая создала новое представление о мире, в том числе и о человеке. Она дала человеку совершенно новый способ познания – *науку*.

Наука породила новый тип техники – прецизионную машину, которая стала основой современного промышленного оборудования. Возникла фабрика как *система машин*, произошла *Индустриальная* (промышленная) революция, которая перевернула организацию общества – и производство, и быт, и социальную структуру. Произошли и *политические* (буржуазные) революции, которые оформили все эти изменения как новый общественный строй. Возникло новое, индустриальное общество, названное *современным* (обществом *модерна*). Возник новый человек, по своей культуре и самосознанию резко отличающийся от человека Средневековья. Возникла новая цивилизация, которую мы знаем как *современный Запад*.

Эта цивилизация оказалась очень энергичной, ей была необходима постоянная экспансия, нужно было постоянно расширяться в разных измерениях – географически, экономически, в познании, в военной силе... Так акула не может стоять на месте, она должна все время плыть, чтобы дышать.

Большую часть мира Запад превратил в свои колонии, овладел этим пространством. Многие местные культуры при этом погибли. Сильным цивилизациям пришлось закрываться от Запада разными барьерами – культурными, военными, экономическими. И при этом они были вынуждены *модернизироваться*. Чтобы устоять перед историческим вызовом со стороны Запада, им нужно было осваивать средства, дающие ему силу, – знания, технологии, многие общественные институты. Это освоение западных достижений и называется *модернизация*.

Модернизация – тяжелый, болезненный процесс. Россия, которая была намного больше открыта Западу, чем, например, Китай или Индия, пережила несколько волн и *кризисов* модернизации. Для нашей темы важен тот факт, что на Западе уже в ходе Научной революции возник принципиально новый метод познания общества – *научное обществоведение*.

Когда в Западной Европе возникло новое общество, оказалось, что прежние способы господства и управления стали неадекватными новой социальной структуре и новой куль-

туре. Раньше, в рабовладельческом и сословном обществе, люди были закреплены в строго определенных нишах с хорошо отработанными на опыте средствами господства. Старого опытного традиционного знания было достаточно, чтобы управлять обществом. Важнейшую функцию в этом выполняли жрецы, а затем – Церковь. Религия была инстанцией, беспрекословно задающей нормы поведения.

Теперь, в новом обществе, появились массы людей, не включенных ни в какие общинные структуры; к тому же это были массы, порожденные *революцией*, люди с новым мышлением, отвергающие прежнюю иерархию и прежние авторитеты. Сам мир был лишен святости в ходе протестантской Реформации, тем более, лишенными святости оказались государство и власть. Требовалось новое знание об обществе, полученное с помощью новых методов исследования.

Знание это требовалось *срочно*. В 1996 году в журнале «Социологические исследования» состоялось заседание «круглого стола» на тему «История социологии и история социальной мысли: общее и особенное». Ж.Т. Тощенко высказал такую мысль: «Как и когда размежевались между собой социальное и социологическое знание, когда наступила грань, позволившая говорить о социологии как суверенной науке? Какие причины привели к ее институализации?»

Соглашусь с выводом, что история социальной мысли включает в себя все многообразие и богатство знаний об обществе... Что же касается социологического знания (даже не затрагивая многочисленных споров о предмете социологии), то оно могло появиться в условиях изменившихся обстоятельств – человек стал самоценностью исторического процесса лишь в период буржуазных революций, и именно это было основанием для возникновения новой социальной науки. К тому же она стала прибегать к методам познания, не применяемым другими социальными науками, но широко используемым в “точных”. Конечно, социологическое знание в момент своего конституирования было во многом несовершенно, неполно, отрывочно, что затем, в определенной степени, постепенно восполнялось (и до сих пор восполняется) трудом последователей и представителей данной отрасли знания».

Но я считаю, что главным побудительным толчком к возникновению социальной *науки* была не столько осознанная самоценность человека, сколько осознанные *угрозы*, зарождавшиеся в новом обществе. В ранних обществах главные угрозы порождались природными катаклизмами – засухами и наводнениями, землетрясениями и извержениями вулканов. Эти опасности не исчезли, хотя от большинства из них человек оказался защищенным техникой и, шире, культурой. В Новое время главные угрозы стали порождаться самим *обществом* – и создаваемой человеком техносферой, и конфликтами интересов между социальными или национальными общностями, и быстрыми сдвигами в массовом сознании или в коллективном бессознательном. Возникла, например, массовая преступность совершенно нового типа, и надо было искать новые способы «надзирать и наказывать», изобретать тюрьмы совершенно нового типа.

Эти угрозы для их предвидения и преодоления требовали уже интенсивной исследовательской работы в рамках научного метода – традиционного знания и здравого смысла для этого было недостаточно. Само управление должно было стать *технологией*, основанной на знании научного типа.

Так и возникло обществоведение – не ремесленное, не опытное, а *научное*. К сожалению, образование не дало нам знания *истории* этого процесса. В последние тридцать лет само западное обществоведение начало раскапывать истоки тех смыслов и представлений, на которых стоит современное общество Запада. Французский философ Мишель Фуко начал большой проект «Археология знания». Он стал выявлять те корни современного знания об обществе, которые предопределили тип самосознания Запада. Книги этой серии очень инте-

ресны, с ними мы лучше понимаем нашу историю, находя и отличия от Запада, и то, чему Россия научилась у него.

Какова предыстория современного российского обществоведения в сравнении с западным?

Начнем с того, что Россия – как государство и как цивилизация – очень *молода* по сравнению и с Западом, и с Востоком. Той предыстории, которая была у Запада, у нас нет, а из нее многое вытекает.

Древние Греция и Рим имели обществоведческие тексты *протонаучного* типа уже с IV века до н. э., в античной философии. «Афинская полития» Аристотеля – это трактаты об обществе, государстве и власти, которые и сегодня воспринимаются как вполне современные (их следовало бы почитать нашим политикам, даже со степенью доктора политических наук). Фундаментальным обществоведческим трудом был «Свод гражданского права» византийского императора Юстиниана (середина VI века). Главная его часть была издана в 50 томах. Античная философия, политология и право вошли в культуру и даже в массовое сознание Запада, когда в Европе с конца XI века начали вводить римское право, причем обучение ему было именно *массовым*.

Христианская философия, христианское представление о человеке и обществе, опирающееся на систему религиозных постулатов, тоже отложились в большом своде обществоведческих текстов. Достаточно вспомнить Бл. Августина, который, по словам русского православного философа Е.Н. Трубецкого (1863–1920), «собирая обломки древней культуры, вместе с тем закладывал основы средневекового, частью же и новейшего европейского мирозерцания... Будучи отцом и, можно сказать, основателем средневекового католичества, он вместе с тем другими сторонами своего учения был пророком протестантизма».

Историки указывают на условия, которые уже с конца IV века стали разводить пути развития Восточной и Западной частей Римской империи. В Константинополе сложилась крепкая светская власть императора в единстве с Церковью, а на западе с трудом поддерживалось неустойчивое равновесие между христианской и языческой частью расколотого общества при постоянных угрозах со стороны варваров.

Е.Н. Трубецкой пишет об этом в своем труде «Мирозерцание Блаженного Августина»: «Атомарный индивидуализм разлагающегося общества в то время уже сливается с индивидуализмом пришлых германских элементов, прорвавшихся в империю. Расшатанный до основания государственный порядок уже не в состоянии сдержать анархического произвола, и церковь одна стоит против индивидуализированной личности с ее стремлением к безграничной свободе и ненасытной жаждой жизни. Привыкшая к разносторонней практической деятельности – не только духовной, но и мирской, – церковь мало-помалу проникается элементами античной культуры, насыщается государственными идеями Древнего Рима. Ее епископы являются представителями не только духовной власти, но и светских преданий, юридических и административных. Ее духовенство в управлении и господстве над людьми, и пастыри ее могли быть для варваров не только наставниками в вере, но и учителями права».

Августин выразил драму человека в обществе, переживающем колоссальный мировоззренческий, духовный и социальный сдвиг – от языческой древности к христианскому Средневековью и от рабства к новому жизнеустройству. Его «Исповедь» близка нам сегодня по ощущению подобного кризиса.

Вселенские соборы и диспуты с еретиками, организация монастырей и школ, хозяйственные отчеты управляющих поместьями рыцарских орденов, разработка больших программ типа Крестовых походов – все это было насыщено проблематикой, которую мы сегодня отнесли бы именно к обществоведению. В Средние века схоласты в монастырях и университетах вырабатывали нормы и методы дискуссий, способы постановки задач и средства умозаключений. Они выполняли исключительно трудоемкую работу по созданию

познавательных средств, приложимых к реальности общества. Масштабы этой интеллектуальной работы были, по меркам Руси того времени, очень и очень велики. Трудно сказать, каким было бы Русское Средневековье, если бы не нашествие монголов. Но исторической реальности не изменишь.

Литература, практически современного типа, возникла на Западе очень давно. В XVI веке многие произведения уже представляли собой замечательные обществоведческие и философские трактаты. Сервантес и Шекспир одновременно представили два главных социокультурных ареала Запада. Сервантес описал традиционное общество католического юга, а Шекспир – общество и составляющие его культурные типы уже периода грядущей Научной революции и Реформации. «Дон Кихот» и «Гамлет» – сложные и очень важные обществоведческие модели.

Университеты и книгопечатание – огромное дело. Болонский университет учрежден в 1088 году, в нем учились великие философы и поэты (назовем Данте Алигьери, Франческо Петрарку и Николая Коперника). В Средние века книг было очень мало – в церкви обычно имелся один экземпляр Библии (хотя качество тех изданий потрясает). В университетах за чтение книги бралась плата. Первые книги были изданы с помощью печатного станка Гутенберга в 1445 году, и еще до конца XV века в мире работало уже свыше тысячи типографий. По историческим меркам мгновенно был превышен весь наличный фонд рукописных книг человечества. Всего за 50 лет книгопечатания в Европе было издано 25–30 тыс. названий книг тиражом около 15 млн. экземпляров. Это был переломный момент. На массовой книге началось строительство и новой школы.

Таким образом, та культурная почва, на которой должно было взрасти современное обществоведение, нарастала на Западе очень долго и культивировалась очень большими силами.

Если взглянем на Восток – та же самая картина. Китайская цивилизация насчитывает более двух тысяч лет (некоторые историки говорят о пяти тысячах). Введение единой системы письма и государственной идеологии (конфуцианства) произошло в I веке до н. э., а это – признак уже весьма высокого уровня развития. Культурный китаец сегодня оперирует сентенциями, изречениями и аллегориями из литературы очень большой исторической глубины. Как говорят китаеведы, в глубоком захолустье можно увидеть, как плывет на лодке с шестом крестьянин и поет для себя арию из средневековой оперы.

Возьмем переводы рассказов китайского писателя XVII века Пу Сунлина «Лисьи чары» и «Монахи-волшебники». Они вышли в СССР в 1922 году, а затем неоднократно переиздавались большими тиражами. В русскую культуру этот шедевр ввел В.М. Алексеев (с 1918 года – профессор Петроградского университета, с 1929 года – член АН СССР). Эти рассказы – замечательное описание средневекового китайского общества, с множеством оттенков и экскурсами в историю.

Наше представление о Монголии сложилось на основе знаний XIX–XX веков, через четыре века после ее упадка. А ведь в XIII–XIV веках это государство было объектом внимательного изучения китайских и арабских исследователей. Уже сочинения 1233–1236 годов содержали ценные сведения о государственном аппарате, правовой системе, военном деле и разведке монгольского государства в период подготовки небывалого по масштабам похода в Восточную Европу (во главе с Батыем). Эти сочинения – продукт обществоведения высокого уровня. Таков и более поздний труд Марко Поло, который и сегодня актуален для нас как источник знания об империи монголов на территории будущей России.

Выдающимся памятником XIII века является «Тайная история монголов», а также собрание последующих средневековых летописей. Монголия была центром, куда стекались культурные ценности и съезжались ученые всего Востока. В закрытом фонде музея в Улан-Баторе хранятся буддийские энциклопедии. Это Канон *Ганджур* («Прямые слова Будды»),

составленный в первой трети XIV века. Он состоит из 108 томов. Вторая энциклопедия – *Данджур* («Перевод комментариев») – представляет собой 254 тома комментариев к Ганджуру, около трех с половиной тысяч текстов. В большой мере их можно отнести к категории обществоведческих. Трудно передать потрясение, которое испытываешь при виде этих великолепных, тисненых золотом прекрасно иллюстрированных изданий. Это чудо, великое достижение разума и художественного вкуса.

Энциклопедии занимают стеллажи вдоль стен зала, а в центре, под стеклом – монгольские приключенческие романы о путешествиях в Индию, богато иллюстрированные. И это XIV век!

Какова база под знанием об обществе в нынешней Японии? Тоже мощная. Когда в XIX веке там разрабатывали большую программу модернизации («реставрация Мэйдзи»), то изучали исторические документы, чтобы сконструировать подходящие социальные формы для этой программы. Остановились на принципах межсословных и межклановых контрактов между самураями, крестьянами, ремесленниками и торговцами, которые действовали в XI веке.

Принципы межсословных контрактов, взаимная ответственность сторон, практика и результаты их применения были так глубоко и полно изложены, что этим знанием оказалось возможным воспользоваться и через 800 лет. Значит, уже в XI веке в Японии были хорошо развиты понятийный аппарат, логика и способ формализации знания в обществоведении – настолько, что это знание можно было легко перевести на современный язык и приложить к современным проблемам.

В древней Японии была хорошо развита и *социодинамика* обществоведческого знания в виде сети библиотек и книгохранилищ и в лице большого контингента образованных чиновников. До нашего времени дошел большой свод кодексов, детально регулирующих общественную жизнь. Российский японовед А.Н. Мещеряков упоминает знаменитый «манифест Тайка», изданный в 645 г. В этом указе были объявлены радикальные реформы прежней системы социально-политического устройства, такие как отмена частной собственности на землю и введение наделной системы землепользования, ликвидация личной зависимости, в которой находились некоторые категории населения, и др.

По словам А.Н. Мещерякова, интенсивные письменные коммуникации в Японии «обеспечили высокий уровень культурной гомогенности, не достигнутый ни в одной из крупных стран современного мира». И условием для этого было то, что уже в XI веке Япония была страной с небывало высоким уровнем грамотности. Важным фактором считается и то, что любимым занятием простоародья были *математические игры*. А в Европе в Средние века человек (за исключением специалистов) не умел даже *считать*. «Дух расчетливости» появился только у протестантов в ходе Научной революции. Когда в Японию в XVIII веке проникли португальские миссионеры и голландцы и стали преподавать математику, они были поражены тем, как легко понимали японцы высшую математику, новую и для Европы.

Таким образом, знание об обществе и в Западной Европе, и в больших культурах Востока накапливалось и систематизировалось *очень долго*. Конечно, основной массив знания, которое требовалось для управления обществом и для конструирования новых социальных форм, по своему типу относился к традиционному знанию, накапливаемому во всех слоях общества и особенно чиновниками, правителями, военачальниками. Однако существенная часть этого знания к XVII веку уже относилась к протонаучному знанию, готовому к совмещению с требованиями *научной* рациональности. Это – очень важный фактор. Заменить длительный процесс «созревания» и выработки определенных интеллектуальных навыков в столь большой части общества форсированными программами очень трудно, а часто и вовсе не удастся.

Россия оказалась именно в таком положении: создание обществоведческих трактатов и реальное их обсуждение в обществе и государственном аппарате начались только в XIX веке. О крестьянах, которые представляли главный социальный и культурный тип, который «держал» Россию, стали писать только после реформы 1861 года. Традиционное знание, основанное на длительном опыте государственного строительства и общественной жизни, накапливалось так же, как и в других цивилизациях. Однако требовались чрезвычайные усилия, чтобы подготовить массивы этого знания к соединению их с научным методом. На это просто *не хватило времени*, и гуманитарно-образованная часть общества не успела совершить мировоззренческий переход, необходимый для создания научного обществоведения.

Сейчас некоторые видные философы и социологи предлагают отказаться от демаркации между разными *типами* знания об обществе, не выделять *научный* тип знания как особый. В этом выделении они видят (и справедливо) дискриминацию более ранних (шире – иных) познавательных систем. На упомянутом «круглом столе» 1996 года Ю.Н. Давыдов предложил все типы знания об обществе считать *научными*. Это дела не меняет и когнитивного конфликта не устраняет, но лишает нас важного критерия различения познавательных систем. А различение необходимо для интеграции знания («прежде чем объединяться, надо размежеваться»).

В начале XX века в системе знания о российском обществе наблюдался отказ за отказом – система была рыхлой, не имела сильного интегрирующего научного ядра. Государство и общество развивались при остром дефиците *знания о самих себе*. Задача, которая была ясна образованной части общества и государству, заключалась в том, чтобы в период империализма провести модернизацию, не будучи втянутыми в периферию западного капитализма в качестве дополняющей экономики. Эту угрозу создавало вторжение западного капитализма (особенно финансового) в хозяйство России с конца XIX века.

Царское правительство искало способы избежать такого хода событий. Было предложено много ценных идей и принято много важных решений – например, решение ввести в России народнохозяйственное планирование. В 1907 году Министерство путей сообщения составило первый *пятилетний план*, а деловые круги «горячо приветствовали этот почин» (русский капитализм тоже пытался избежать перспективы быть «переваренным» западным капиталом). Более широкие комплексные планы стала вырабатывать «Междуведомственная комиссия для составления плана работ по улучшению и развитию водяных сообщений Империи», которая работала в 1909–1912 годах. Реализации этих планов мешала слабость госаппарата и начавшаяся война.

Однако в общем задачу преодолеть кризис модернизации в рамках сословного общества решить не смогли, Российская империя попала, по выражению М. Вебера, в «историческую ловушку» – систему взаимодействующих порочных кругов. Что бы ни делало царское правительство, недовольство нарастало. Наличием этих порочных кругов Вебер объясняет, в частности, враждебное отношение самодержавия к *земству* как институту самоуправления, а значит, к значительной части дворянства и интеллигенции.

В попытках остановить революцию самодержавие было вынуждено подавлять своих естественных союзников. Дав урезанную, выхолощенную конституцию (Манифест 17 октября 1905 года), самодержавие стало ее заложником и потеряло свою силу, не приобретя ничего взамен. Отныне оно только ухудшало ситуацию, но не имело возможности ее улучшить. «Оно не в состоянии предпринять попытку разрешения какой угодно большой социальной проблемы, не нанося себе при этом смертельный удар», – писал Вебер.

Из этого, кстати, видно, какова была глубина той исторической ловушки, в которую попала Россия, становясь страной периферийного капитализма. Самодержавие при всем желании не могло ослабить барьер против либеральной модернизации, поскольку при этом был слишком велик риск, что из-под контроля выйдут уже гораздо более мощные силы

«архаического коммунизма». Перед разгоном I Государственной думы (через 72 дня после начала ее работы, 8 июля 1906 года) лидер октябристов А.И. Гучков писал о двух вариантах – смене правого правительства или роспуске Думы: «В первом случае получим анархию, которая приведет нас к диктатуре; во втором случае – диктатуру, которая приведет к анархии. Как видите, положение, на мой взгляд, совершенно безвыходное. В кружках, в которых приходится вращаться, такая преступная апатия, что иногда действительно думаешь, да уж не созрели ли мы для того, чтобы нас поглотил пролетариат?».

Так дело довели до революции – во многом из-за недостатка знания. У власти даже отсутствовали адекватные российской реальности индикаторы, с помощью которых можно было бы следить за ходом общественных процессов. В результате власть делала ошибки, которых, в принципе, можно было бы избежать. Царю было присуще наивное (*аутистичное*) представление о реальности, главные противоречия которой якобы могут быть разрешены общенародной любовью к монарху и его непререкаемым авторитетом. Так, вера царя в крестьянский монархизм в существенной мере предопределяла неадекватность всей его политической доктрины.

Летом 1905 года, уже в разгар революции, при обсуждении с царем положения о выборах в Государственную думу один сановник предложил исключить грамотность как условие для избрания. Он сказал: «Неграмотные мужики, будь то старики или молодежь, обладают более цельным мирозерцанием, нежели грамотные». Министр финансов Коковцов возразил, сказав, что неграмотные «будут только пересказывать эпическим слогом то, что им расскажут или подскажут другие». Однако, как он вспоминает, царь обрадовался благонадежности безграмотных. В тот момент это уже было не просто ошибочным, но и очень опасным взглядом – отлучение крестьян от образования стало одной из важных причин их сдвига к революционным установкам.

После начала войны с Японией, которую большинство народа быстро стало воспринимать как трагедию, в правящей верхушке возникла утопия «небольшой победоносной войны», которая, как считалось, укрепит монархию. Насколько верхушка уже была оторвана от реальности, говорит простодушная похвальба по этому поводу царя П.А. Столыпину, тогда саратовскому губернатору: «Если б интеллигенты знали, с каким энтузиазмом меня принимает народ, они так бы и присели».

Для нас важен факт, что несостоятельным оказалось и то обществоведение, на представлениях которого строили свои доктрины силы оппозиции. Прежде всего, это ведущая либерально-буржуазная партия (партия Народной свободы, «конституционные демократы» – *кадеты*), которая была реформистской и стремилась предотвратить революцию. Она собрала цвет интеллигенции, имела большую финансовую поддержку. Кадеты являлись интеллектуальной «партией мнения». Они имели в своих рядах многих видных философов и экономистов, ученых и публицистов. Склонные к рефлексии, кадеты оставили множество ярких выступлений, которые в совокупности служат для нас важным свидетельством эпохи. Они создали обширную прессу – до 70 центральных и местных газет и журналов, много партийных клубов и кружков. По интенсивности пропаганды и качеству ораторов им не было равных. И при этом их представления о России и ходе исторического процесса являлись ошибочными.

Главное противоречие программы кадетов заключалось в том, что они стремились ослабить или устранить тот барьер, который ставило на пути развития либерального капиталистического общества самодержавие с его сословным бюрократическим государством. Но Вебер предвидел, что при этом через прорванную кадетами плотину хлынет мощный антибуржуазный революционный поток, так что идеалы кадетов станут абсолютно недостижимы. Либеральная аграрная реформа, проведение которой требовали кадеты, «по всей вероятности мощно усилит в экономической практике, как и в экономическом сознании

масс, архаический, по своей сущности, коммунизм крестьян», – вот вывод Вебера. Таким образом, их реформа «должна замедлить развитие западноевропейской индивидуалистической культуры».

При этом политические требования кадетов как будто совпадали с крестьянскими – и те и другие поддерживали идею всеобщего избирательного права. Но Вебер считал, что эти взгляды кадетов ошибочны, потому что крестьяне исходят из совсем иного основания: в их глазах всякие ограничения избирательного права противоречат традиции русской общины, в которой каждый землепользователь имел право голоса. Как пишет Вебер, «ни из чего не видно, что крестьянство симпатизирует идеалу личной свободы в западноевропейском духе. Гораздо больше шансов, что случится прямо противоположное. Потому что весь образ жизни в сельской России определяется институтом полевой общины».

Вебер писал, что кадеты прокладывали дорогу как раз тем устремлениям, которые устраняли их самих с политической арены. Так что кадетам, по словам Вебера, ничего не оставалось, кроме как надеяться, что их враг – царское правительство – не допустит реформы, за которую они боролись. Редкостная историческая ситуация, и нам было бы очень полезно проанализировать ее сегодня. Неудача кадетов очень важна для понимания России.

Другая важная сторона конституционализма – его несовместимость со сложившимся в России типом *сосуществования народов*. Приняв за идеал государственного и общественного устройства Запад, либералы заведомо вели дело к разрушению России как многонациональной евразийской державы. Таким образом, в случае успеха (как это и случилось в феврале 1917 г.) их программа обрекала Россию на катастрофу, за которой должен был последовать неминуемый откат, реставрация, уничтожающая тогдашних носителей западнического либерализма. Тот факт, что кадеты этого не предвидели, говорит о серьезном дефекте когнитивной структуры их обществоведения.

Ошибочными были и представления о России *социал-демократов*, которые следовали установкам ортодоксального марксизма. Конфликт между этими установками и цивилизационными особенностями России сыграл очень важную роль в нашей судьбе в XX веке, и о нем мы будем говорить отдельно. Здесь скажем только, что в конце XIX века он выразился в том разгроме, который марксисты учинили народничеству (по прямому указанию Маркса). Это привело к тому, что было надолго задвинуто в тень ценное знание о России, которое собрали народники, разрабатывая концепцию «неподражательного пути» развития России.

Легальный марксист П. Струве утверждал, что капитализм есть «единственно возможная» форма развития для России, и весь ее старый хозяйственный строй, ядром которого было общинное землепользование крестьянами, есть лишь продукт отсталости: «Привить этому строю культуру – значит его разрушить». Распространенным было и убеждение, что разрушение (разложение) этого строя капитализмом западного типа уже стремительно идет в России. Плеханов считал, что оно уже состоялось. М.И. Туган-Барановский (легальный марксист, а затем кадет) в своей известной книге «Основы политической экономии» признавал, что при крепостном праве «русский социальный строй существенно отличался от западноевропейского», но с ликвидацией крепостного права «самое существенное отличие нашего хозяйственного строя от строя Запада исчезает... И в настоящее время в России господствует тот же хозяйственный строй, что и на Западе».

Большую роль в подавлении народников сыграл молодой В.И. Ленин и его фундаментальный труд «Развитие капитализма в России» (1899). Главной задачей этого труда сам Ленин считал укрепление марксистских взглядов на исторический процесс в России.

Ленин делает радикальный вывод об изменении классового строя российской деревни: «Доброму народнику и в голову не приходило, что, покуда сочинялись и опровергались всяческие проекты, капитализм шел своим путем... Старое крестьянство не только “дифференцируется”, оно совершенно разрушается, перестает существовать, вытесняемое совершенно

новыми типами сельского населения, – типами, которые являются базисом общества с господствующим товарным хозяйством и капиталистическим производством. Эти типы – сельская буржуазия (преимущественно мелкая) и сельский пролетариат, класс товаропроизводителей в земледелии и класс сельскохозяйственных наемных рабочих».

Здесь реальность российской деревни втискивается в модель, которую Маркс разработал на материале «раскрестьянивания» в Англии – в совершенно иных условиях. Модель марксистов – как большевиков, так и «легальных» – была неадекватна в принципе, не в мелочах, а в самой своей сути. Но эта модель становилась главенствующей в России. При частной собственности на землю аграрное перенаселение в России позволило поднять арендную плату в 4–5 раз выше капиталистической ренты. Поэтому укреплялось не капиталистическое, а трудовое крестьянское хозяйство – процесс шел совершенно иначе, чем на Западе.

Ведущий экономист-аграрник А.В. Чаянов писал: «В России в период, начиная с освобождения крестьян (1861 г.) и до революции 1917 г., в аграрном секторе существовало рядом с крупным капиталистическим крестьянское семейное хозяйство, что и привело к разрушению первого, ибо малоземельные крестьяне платили за землю больше, чем давала рента капиталистического сельского хозяйства, что неизбежно вело к распродаже крупной земельной собственности крестьянам».

Из всех левых политических движений России лишь большевики и, в меньшей степени, левые эсеры преодолели евроцентризм марксизма, освоив уроки революции 1905–1907 годов. Ленин понял ошибочность главных выводов своего труда «Развитие капитализма в России». Это была «плодотворная ошибка», которая вела к новой теории революции – не с целью расчистки пространства для развития капитализма, а как средство предотвратить втягивание России в периферийный капитализм с раскрестьяниванием и архаизацией хозяйства.

Важной вехой на этом пути была статья Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции» (1908). В ней дана совершенно новая трактовка русской революции. Ленин очень осторожно выдвигает кардинально новую для марксизма идею о революциях, движущей силой которых является не устранение препятствий для господства «прогрессивных» производственных отношений (капитализма), а именно предотвращение этого господства – стремление *не пойти* по капиталистическому пути развития. Это – новое понимание сути русской революции, которое затем было развито в идейных основах революций других крестьянских стран. Такое «преодоление» марксизма привело, однако, к глубокому расколу с меньшевиками.

Вебер считал, внимательно изучая нашу революцию 1905 года, что происходящие в России процессы имели фундаментальное значение для обществоведения. Это было первое крупномасштабное столкновение традиционного (в основном крестьянского) общества с наступающим на него современным капитализмом. Такое столкновение давало очень ценное знание как о современном капитализме, так и о его главном противнике – традиционном обществе. Вебер даже изучил русский язык, чтобы следить за ходом событий.

Методологическая слабость российского обществоведения во многом предопределила невозможность для общества и власти осваивать в режиме реального времени смысл тех цивилизационных проектов, которые в тот период «конкурировали» на общественной сцене России. Усваивался только верхушечный политический смысл. Если бы общество успевало понять глубинный смысл и «взвесить» потенциал всех проектов, то, возможно, не произошло бы тотальной катастрофы, которая последовала за революцией. Противоречия в России не были до такой степени антагонистическими, чтобы с неизбежностью разрешиться в гражданской войне.

Так, главными противниками империи и монархии были либералы, которые следовали утопии создания в России экономической и политической системы по западному образцу.

Но если бы был найден компромисс монархистов с цивилизационно более близкими революционными силами «почвенников», то процесс мог бы пойти по пути реформ – социальная база либералов была недостаточна для гражданской войны. Эсеры также могли бы вступить в диалог с теми, кто находился под влиянием крестьянского мировоззрения, и войти в исторический блок с консерваторами и большевиками.

Но в обществоведении понимание хода исторических процессов резко отстало. Сейчас пишут, что Ленин и Столыпин верно поняли состояние России, но пошли разными путями, следовали разным проектам. Однако оба их проекта были поняты лишь на уровне интуиции, очень большая часть созданного в них *знания* не была использована. А ведь Столыпин (по типу образования и мышления – ученый) вел свою неудавшуюся реформу почти как научный эксперимент. Он проверил важную альтернативу, регулярно «выкладывал» эмпирические результаты, за реформой можно было следить по надежным эмпирическим данным (в отличие от аграрной реформы 90-х годов XX века).

Забегая вперед, скажу, что советское и постсоветское обществоведение еще в меньшей степени освоили урок Столыпина, чем его современники. К столыпинской реформе подошли с позиции политической конъюнктуры. Она была обречена на неудачу по причине непреодолимых объективных ограничений, и это – вывод огромного значения. Но ведь и в нынешней попытке «фермеризации» данный вывод полностью игнорировали. Наше обществоведение в этом важном разделе оказалось *необучающейся* системой. Оно было неспособно к рефлексии, хотя все необходимые данные были налицо.

Академик Л.В. Милов писал, завершая исторический обзор развития сельского хозяйства России: «Общий итог данного обзора можно сформулировать так: практически на всем протяжении своей истории земледельческая Россия была социумом с минимальным совокупным прибавочным продуктом. Поэтому если бы Россия придерживалась так называемого эволюционного пути развития, она никогда не состоялась бы как великая держава... И в новейший период своей истории... в области аграрного производства Россия остается в крайне невыгодной ситуации именно из-за краткости рабочего периода на полях. По той же причине российский крестьянин лишен свободы маневра, компенсировать которую может только мощная концентрация техники и рабочей силы, что, однако, с необходимостью ведет к удорожанию продукции... В значительной мере такое положение сохраняется и поныне. Это объективная закономерность, которую человечество пока не в состоянии преодолеть».

Реформа Столыпина была альтернативой советской аграрной политике: Столыпин разрушал сельскую общину так же, как А.Н. Яковлев мечтал разрушить колхоз. Столыпинская аграрная реформа изображалась прообразом горбачевской. В одной из центральных газет 12 мая 1991 года даже была опубликована статья «Столыпин и Горбачев: две реформы «сверху»».

В 1994 году вышла подготовленная Институтом экономики РАН книга, где говорилось: «В основу преобразования сложившихся в плановой экономике земельных отношений положена фермерская стратегия. При этом в качестве главного аргумента выдвигается положение о том, что фактическая эффективность производства в фермерских хозяйствах выше, чем в колхозах и совхозах». Никаких фактических или логических данных в пользу этого «главного аргумента» не приводилось. Не было и намека на анализ неудачи реформы Столыпина.

Среди прочих выводов из урока Столыпина был один сравнительно простой – о том, что смена хозяйственного уклада требует изменения технологической базы. Стоимость этого изменения бывает очень высока. Россия в начале XX века могла обеспечить средствами для ведения интенсивного хозяйства лишь кучку капиталистических хозяйств помещиков (на производство 20 % товарного хлеба), но не более. Остальное – горбом крестьян. В 1910 году в России в работе на полях было задействовано 8 млн. деревянных сох, более 3 млн. деревянных плугов и 5,5 млн. железных плугов. Конкретно, у правительства Столыпина не было

достаточно средств, чтобы «оплатить» переход от одного уклада (общинное крестьянское хозяйство) к другому (капиталистическое фермерство), – не было средств, чтобы обеспечить фермера железным плугом, молотилкой и лошадью. В расчетах стоимости такого перехода правительство ошиблось.

Но ведь буквально ту же ошибку мы видим и сегодня – вот что поразительно. Политики и академики даже не задумались, почему колхозы и совхозы вполне обходились 11 тракторами на 1000 га пашни, в то время как среднеевропейская норма для фермеров в 10 раз больше – 110–120 тракторов (а в ФРГ – более 200). Никто не подсчитал, во сколько обошлась бы в России замена колхозов фермерскими хозяйствами, если бы она действительно произошла в полном масштабе. Между тем только обеспечение тракторами обошлось бы, в ценах 2008 года, в 1,3 трлн. долл.!

Можно говорить о проектах Ленина и Столыпина – замыслы обоих проектов глубоки. Но методологического инструментария для их систематической разработки не было. Какие тексты произвела обществоведческая элита России на основании анализа революции 1905 года? Сборник «Вехи» – эмоциональный гуманитарный трактат о ценностях интеллигенции. Книга очень интересная, прочитать ее надо обязательно; но никакого инженерного знания о том, что надо делать, чтобы скорректировать общественные процессы, из нее нельзя получить. Авторы – верхушка либеральной элиты, самая образованная часть общества, люди высокого полета; но никакого знания, нужного для государства или хоть какой-то части общества – власти, управления, оппозиции, – они не дали. «Вехи» – сплошное самовыражение! Вещь в культуре нужная, но не заменяющая объективного знания.

Более того, после Февраля 1917 года либералы пришли к власти – и никакого проекта, никакой технологии постановки целей и выработки решений. Полный провал! Они даже не смогли сформулировать программы действий по легитимизации своего режима. Приняли концепцию *непредрешенчества*. Как можно во время революции говорить: «а мы не будем ничего решать»? Никакого пункта национальной повестки дня! Нет даже вопроса о форме власти. Страна была – но не поймешь, какое в ней государство: монархия ликвидирована, но и республика не провозглашена. Если пройтись по всем пунктам перечня функций власти – ситуация та же самая. При этом Временное правительство собрало вокруг себя цвет либеральной мысли и значительную часть марксистской интеллигенции.

Те же самые ошибки продолжили делать вожди Белого движения и их советники, включая эсеров. Они не смогли (и даже принципиально отказались) предложить программу сборки страны и народа. Это требовалось населению, и тот, кто предложил бы внятный и приемлемый проект такой сборки, сразу получил бы поддержку. Но если бы Белое движение опиралось на хорошее знание об идущих на «постимперском пространстве» общественных процессах, оно могло бы избежать вхождения в целый ряд фатальных порочных кругов.

На какое знание опирались советская власть и госаппарат? Почему они выдержали Гражданскую войну и вызванные ею бедствия и решили немало важных задач по восстановлению хозяйства, по сборке страны и народа, выполнили ряд больших программ развития? В основном они опирались на то, что в управленческую элиту вошел очень большой контингент *практиков* – людей, которые знали на опыте состояние дел сверху донизу. Цивилизационный проект советской власти приняла и включилась в его осуществление значительная часть старой элиты – генералитет и офицерство, руководители полиции и жандармерии, значительная часть чиновничества и даже министров царского и Временного правительств, Академия наук, промышленники. Их дополнили практики «снизу» – грамотные рабочие и крестьяне, командиры Красной Армии и студенты. Возникла дееспособная, знающая и увлеченная большим национальным проектом элита.

Опираясь на реальное знание, которым обладала Россия в лице этих работников, стало возможным укрепить новое государство и целый исторический период решать очевидные

необходимые задачи, не допустив разрыва непрерывности с системой знания прежнего государства. Эти кадры руководили большими программами и оказались на высоте даже такого вызова, как Великая Отечественная война. Но знание об обществе, которым они пользовались, было прежде всего знание *традиционное*. Оно было сконцентрировано в опыте, сформулировано в наказах и приговорах крестьян 1905–1906 годов. Тысячи этих наказов содержали огромный объем знаний и представлений о благой жизни. Это было выражение *чаяний* подавляющего большинства народа, ценнейший материал для создания новых социальных форм.

Однако применение и развитие этого знания протекали в тяжелой дискуссии и в конфликте с официальным обществоведением, в основу которого тогда был положен исторический материализм. Эти дискуссии нарастали, они вели к расколам, а в крайней форме – и к репрессиям. Дискуссии были важными и интересными, но из-за эмоционального накала в них доминировали ценностные компоненты. Да и социальная цена их была очень велика.

Остается только поражаться, как много удалось сделать при дефиците научного обществоведческого знания. Скажем, без развитой этнологии Советское государство смогло в 1918–1920 годы усмирить этнический национализм окраин и на новой основе воссоздать «империю» в форме СССР. Сейчас в зарубежной антропологии это считается великим достижением.

Опыт и очень интенсивное осмысление практики, жесткие дискуссии позволили избежать многих провалов. Но были и катастрофические ошибки, вызванные нехваткой рационального знания. Одна из них связана с первым этапом коллективизации; это рана, которая кровоточит постоянно. Реализация принятой в конце 1920-х годов доктрины привела к голоду и тяжелому расколу сельского общества. Принятая в исходной доктрине модель кооператива была совершенно неприемлема для традиционного крестьянского мироощущения. Другое дело, что эта ошибка очень быстро была проанализирована и исправлена.

Но после войны, во второй половине XX века становилось все более очевидно, что наличие обществоведения научного типа – это необходимое условие выживания. Без него уже невозможно было успешно управлять урбанизированным индустриальным обществом. Традиционное и неявное знание уже не отвечало сложности задач. Общественные процессы выходили из-под контроля. Многие проявления недовольства приходилось подавлять, загоняя болезненные явления вглубь.

Андропов в свое время признал, что «мы не знаем общества, в котором живем».

В этом признании было предчувствие катастрофы. Ведь это сказал человек, который много лет был председателем КГБ. Власть обслуживала огромная армия обществоведов: только *научных* работников в области исторических, экономических и философских наук в 1985 году было 163 тыс. человек. Гораздо больше таких специалистов с высшим образованием работало в госаппарате, народном хозяйстве и социальной сфере.

Если при этом «мы не знали общества, в котором живем», это значило, что их «наука» *методологически* была неадекватна своему предмету – этому обществу. В результате и высшее руководство страны, и работники госаппарата на всех уровнях, и само общество не имели необходимого научного знания. Познавательные инструменты советского обществоведения *не годились*. Это и привело к катастрофическому провалу.

В чем сегодня видится его причина? Почему ни в Российской империи, ни в СССР не возникла система научного знания об обществе? Разумеется, и раньше, и в советское время у нас было много блестящих мыслителей, которые высказывали блестящие идеи и писали интересные книги, но в науке отдельные таланты и даже их малые группы не могут заменить *системы* – социального сообщества, следующего нормам научности и связанного профессиональными коммуникациями особого типа.

В 1990-е годы ряд аналитиков склонялись к мысли, что слабость советского обществоведения была обусловлена тем методологическим фильтром, которым служил взятый из марксизма исторический материализм с его специфической структурой познавательных средств. О методологическом несоответствии истмата реальности XX века мы будем говорить особо – это большая и важная для нас тема. Она актуальна потому, что хотя сейчас российское постсоветское обществоведение сменило свой идеологический вектор и ориентируется на либеральные (или даже «антимарксистские») ценности, в методологическом плане никакого сдвига не произошло. Те же преподаватели, что и раньше, исходят из тех же постулатов истмата, а идеологическая компонента на логику их рассуждений влияет мало. Оказалось, что несущественно, за что они «болеют» – за труд против капитала или за капитал против труда. Парадигма задается фундаментальной картиной мира, а в либерализме и в истмате эти картины примерно одинаковы.

Но сейчас, наблюдая состояние обществоведения уже не в 1990-е годы, а в последние 10 лет, мы приходим к выводу, что проблема глубже. Корни ее уходят во вторую половину XIX века, когда русская интеллигенция создавала первые структуры современного обществоведения. Эта же причина обусловила слабость российского обществоведения и в начале XX века, обуславливает ее и сейчас. Она прямо не связана с истматом и вызвана принципиальными различиями в генезисе российского и западного обществоведения.

Вспомним, как шло на Западе становление науки и научного обществоведения и сравним с тем, как этот процесс протекал в России. В Средние века на Западе основной формой общественного сознания была *религиозная*. Рациональная форма знания была сопряжена с религиозными представлениями, в лоне этого мировоззрения и вырабатывались инструменты познания. Возрождение означало большой сдвиг в познавательной деятельности, общественная мысль стала плюралистичной, допускался даже атеизм. Общество и власти стали терпимее относиться даже к черной магии в разных ее вариантах. Важные позиции занял новый тип знания, который называли *натурфилософией*. Возрождение много сделало для движения (социодинамики) знания, с ним связано распространение книгопечатания.

Но натурфилософия не была наукой. Этот тип знания был тесно связан с *ценностями*, а в мировоззренческом смысле следовал *холизму*, целостному представлению о мире вещей, связанных воедино. Натурфилософии было присуще космическое представление о мире. Наука, родившаяся в XVII веке, была принципиально другим типом познания и порождала иной тип знания. Она отошла от *эссенциализма* натурфилософии, т. е. от поиска *сущности*, таящейся в каждой вещи. Наука, напротив, имела целью выявить в каждом явлении или вещи общую закономерность, превращая конкретный предмет в *модель*. При этом реальное воплощение объекта было несущественно, он был для исследователя лишь носителем знания о том явлении, которое в данный момент было предметом исследования.

С точки зрения обыденного сознания прежнее знание было более продуктивным, оно лучше описывало видимую реальность. Так, физика Аристотеля лучше описывала обыденный мир человека, чем законы механики Галилея – камень действительно падал быстрее, чем перышко. Галилей сделал потрясающий по своей смелости шаг – он абстрагировался от побочных факторов, которые в данный момент его не интересовали, и вместо камня или перышка он видел *материальную точку*, вес и форма которой не были важны. А в реальности вес и форма определяют скорость и траекторию падения: перышко падает медленно, потому что сопротивление воздуха препятствует его падению, а ветер может даже поднять его ввысь.

Наука редуцирует явление до абстрактной элементарной сущности. Знание, которое ищет элементарные явления, отрицает космизм и холизм. И самое главное – это знание, которое освобождается от ценностей. Вещи теряют для ученого свой тайный смысл, свою выра-

женную в имени сущность, они не связаны воедино невидимыми струнами в божественный Космос.

В этом и был глубокий смысл конфликта Галилея с Церковью. Он требовал разрешения познавать ради *знания*, независимо от его отношения к добру и злу. В религиозном мировоззрении знание и ценности были сцеплены – или ты познаешь во славу Бога, или ты познаешь с темными замыслами. Галилей провозгласил знание как самоценность – *беспристрастное* (объективное) знание. Знать *то, что есть*, независимо от того, *как должно быть*.

Это был разрыв непрерывности в развитии знания. В личном плане он был драматическим. Галилей был глубоко религиозным человеком, личным другом иерархов Ватикана, но ему пришлось предстать перед судом Инквизиции. Другие первопроходцы Научной революции также переживали потрясения при кардинальной перестройке основ своего мировоззрения.

Родоначальник химии Бойль был алхимиком. Алхимия накопила огромное знание о веществах, выработала очень много практических приемов, но это была не наука, а *магия*. Бойль совершил интеллектуальный подвиг, оставив описание обеих систем знания и хода преобразования его личной познавательной структуры.

С наукой возникло новое мировоззрение, новая *картина мира*. Строго говоря, сама *картина* мира возникла потому, что художники Возрождения изобрели *перспективу* и представили человека как субъекта, наблюдающего мир. Раньше человек не отделялся от этой картины, перспективы не было, не было и субъектно-объектных отношений между человеком и миром. Человек был связан с Космосом «невидимыми струнами». Натурфилософия и наука вышли из Возрождения по двум разным траекториям, а мы в школьной истории ошибочно представляли их как последовательные этапы одного пути. Как теперь говорят, наука – это не дочь натурфилософии, а ее сестра.

Инструменты для познания наука брала отовсюду. Например, Католическая церковь создала замечательный, изощренный суд – Инквизицию. Следствие заключалось в допросе под пытками. Была разработана строгая и сложная методология интерпретации криков пытаемого, с точным протоколированием, без всяких фальсификаций – как средство выяснения истины. Наука многое взяла у Инквизиции при создании экспериментального метода – «допроса Природы под пыткой». М. Фуко писал: «Как математика в Греции родилась из процедур измерения и меры, так и науки о природе, во всяком случае, частично, родились из техники допроса в конце Средних веков. Великое эмпирическое познание... имеет, без сомнения, свою операциональную модель в Инквизиции – всеохватывающем изобретении, которое наша стыдливость упрятала в самые тайники нашей памяти».

Но для нас здесь важна не история становления науки, хотя в нее было бы полезно вникнуть, а то, что на Западе обществоведение сразу стало формироваться как *часть науки*. К этому привел ряд обстоятельств.

Во-первых, возникла и была осознана огромная потребность в достоверном знании – Западная Европа втянулась в полосу революционных катаклизмов, старое традиционное знание о сословном обществе быстро теряло свою пригодность. На общественную арену выходил новый человек, новый культурный тип. Соответственно, складывались новое общество, новый тип государства и новый тип хозяйства. Религиозные или моральные трактаты не могли дать адекватного описания этих процессов.

Во-вторых, появился новый *метод познания*, и ученые сразу стали с энтузиазмом применять его и к человеку, и к обществу. И сразу стали создаваться научные, хорошо разработанные модели. Они стали инструментом познания и в то же время – мощным средством воздействия на общественное сознание и процесс легитимации грядущего общественного порядка.

Примером служит Гоббс – уже типичный ученый периода Научной революции, с математическим сознанием. Он разработал модель человека, нового общества и государства. Человек Гоббса – *атом*, свободный самодостаточный индивид, который находится в непрерывном движении и не изменяется при столкновениях с другими индивидами. Гоббс взял то представление об атоме, которое было выведено из интеллектуальной тени именно обществоведами, причем именно в отношении человека, а не материи. Уже потом это понятие перешло в естествознание.

На основе модели человека как атома был развит целый подход к объяснению человека и общества – *методологический индивидуализм*, который и до сих пор применяется в западном обществоведении. Как инструмент познания конкретного общества модель Гоббса эффективно выполнила свои функции, даже несмотря на то, что аллегория атома в принципе неверна, а Гоббс при выработке образа «естественного человека» использовал ошибочные сведения об индейцах Америки.

Исходя из этой модели человека, Локк создал учение об обществе. В центре всей конструкции находится ядро – *гражданское общество* (в точном переводе *цивильное*, т. е. цивилизованное). Это «Республика собственников». Оболочка, окружающая это ядро, – *пролетариат*, которые живут в состоянии, *близком к природному*. Они уважают частную собственность и пытаются ее экспроприировать у «богатых». А в «заморских территориях» живут «в состоянии природы» дикари и варвары. Ось, вокруг которой крутится гражданское общество, – частная собственность. Исходным фундаментальным объектом частной собственности является *тело* индивида как основа всех остальных типов частной собственности. Это была эффективная модель, из нее можно было исходить и в идеологии, и в управлении обществом, – человек Запада ее принимал.

Адам Смит, исходя из механистической модели мироздания Ньютона, создал теорию *рыночной экономики*. Он буквально перенес ньютоновскую модель в сферу хозяйства, включая метафору «невидимой руки рынка» (у ньютонианцев «невидимая рука», толкающая тела друг к другу, была метафорой гравитации). Невидимая рука рынка постоянно приводит его в равновесие, когда колебания спроса и предложения разбалансируют систему. Согласно Адаму Смиту, вся эта равновесная машина рынка описывается простыми математическими уравнениями, наподобие законов механики.

Таким образом, на Западе уже в XVII–XVIII веках наука задала методологические основания для обществоведения. Стало довольно строгой нормой не вводить в «научную» часть рассуждений об обществе нравственные ценности, хотя, конечно, прилагать строгие каноны развитой науки к обществоведческим трактатам того времени невозможно – ценности проникают в них «контрабандой». Важно, что был принят определенный вектор, ориентирующий на идеал беспристрастного, объективного знания.

Сам Адам Смит был религиозным моралистом. Он слыл приверженцем философии деизма, согласно которой Бог-часовщик завел пружину мироздания как часового механизма и предопределил ход общественных процессов, которым присуща гармония в той же степени, как и природным процессам. Смит придавал большее значение своему трактату «Теория нравственных чувств», чем «Исследованию о природе и причинах богатства народа», которое и сделало его великим экономистом. Для нас здесь важно то, что он разделил эти два труда как принадлежащие разным сферам знания. Это было признаком *научного* обществоведения.

В России формирование обществоведения пошло по другому пути. До середины XIX века трактаты, излагавшие представления об общественных процессах, создавались в рамках традиционного знания и этики, часто с отсылками к религиозному знанию. В середине XIX века в русской литературе возник особый жанр, получивший название «физиологический очерк» – текст, описывающий какую-то сторону социальной реальности. Этот жанр

историки культуры считают предшественником российской социологии – будущего обществоведения.

Изучение этого периода показывает, что обществоведение России вышло из *классической русской литературы*, а не из науки. Соответственно, оно несло в себе присущие русской литературе мировоззренческие черты. Можно сказать, оно было сначала разнообразностью литературы и было проникнуто сильным нравственным чувством. С самого начала оно занимало в общественном сознании пристрастную, даже радикальную позицию, выступая на стороне угнетенных и обездоленных. По своим методологическим установкам это обществоведение было несовместимо с беспристрастностью и объективностью, оно сразу утверждало *«то, что должно быть»*, – декларировало нравственные идеалы и ценностные нормы.

Герцен писал: «Вся литература времен Николая была оппозиционной литературой, непрекращающимся протестом против правительственного гнета, подавлявшего всяческое человеческое право... Слагая песни, она разрушала; смеясь, она подкапывалась». Русская обществоведческая литература была гуманна, нравственна, но именно это и делало ее *ненаучной*. Она пошла по пути *натурфилософии*. Она давала ценное знание, но того типа, в котором знание и ценности тесно связаны и даже переплетены. А наука возникла в ходе *развода* знания и ценностей. Ценности оставлены философии и религии, а наука говорит, *«что есть»*, а не указывает, *«как должно быть»*. Иногда она может предупредить: если будешь поступать так-то и так-то, будет то-то и то-то.

Бэкон сказал: «Знание – сила»... и *не более того*. Иными словами, знание не позволяет определить, что есть добро, а что зло. Наука дает *объективное* знание, независимо от любви или ненависти исследователя к предмету познания.

Первым отечественным социологическим исследованием в России считают книгу Н. Флеровского (В.В. Берви) «Положение рабочего класса в России: наблюдения и исследования» (1869), в которой автор исследовал условия труда и быта сельскохозяйственного населения России. Маркс, высоко оценивая эту книгу, пишет о ней Энгельсу: «Это самая значительная книга среди всех, появившихся после твоего труда о “Положении рабочего класса [в Англии]”. Прекрасно изображена и семейная жизнь русского крестьянина – с чудовищным избиением насмерть жен, с водкой и любовницами».

Чтобы читать эту книгу, Маркс стал изучать русский язык. Он многократно ссылается на нее как на самый достоверный источник знания «о положении крестьянства и вообще трудящегося класса в этой окутанной мраком стране». Маркс пишет о Флеровском: «Он хорошо схватывает особенности характера каждого народа – “прямодушный калмык”, “поэтический, несмотря на свою грязь, мордвин” (которого он сравнивает с ирландцами), “ловкий, живой эпикуреец-татарин”, “талантливый малоросс” и т. д. Как добропорядочный великоросс, он поучает своих соотечественников, каким образом они могли бы превратить ненависть, которую питают к ним все эти племена, в противоположное чувство».

Уже из этих похвал видно, что в книге Флеровского нет беспристрастности, автор излагает свои ценностные предпочтения, давая характеристики «каждого народа» России не без примеси русофобии.

Конечно, поскольку обществоведение связано с изучением людей, в него импортируют ценности – отношение к человеку всегда связано с нравственностью. Но это вторжение ценностей в научное обществоведение стараются ослабить или замаскировать. В российском обществоведении, напротив, методология сознательно базировалась на ценностях. Если эксплуатация – это зло, то автор сразу писал очерк об *угнетенных*, исходя из своих нравственных установок. А если для автора рабочие – это иждивенцы и люмпены, то он начинал пропаганду безработицы, которая закрутит гайки.

В результате, такое обществоведение не давало беспристрастного знания. И это до последнего времени, включая 1990-е годы, было общим явлением, характерным и для правых, и для левых. Научной ценности эти тексты почти не имели и служили лишь свидетельствами колебаний общественного мнения интеллигенции. А инженерного знания, на котором и власть, и оппозиция могли бы строить свои платформы, отвечающие их моральному выбору, не было.

Если вспомнить, и аргументация в таких текстах часто опиралась на апелляцию к авторитетным писателям-классикам. Особенно часто взывали к Достоевскому (во время перестройки то и дело поминалась «слеза младенца»), консерваторы чаще обращались к Толстому. Чехов тоже использовался как идеологический молоток. А ведь он специально предупреждал, что ни в коем случае нельзя верить писателю, который пишет на общественные темы. Писатель не описывает реальное общество, он создает *образ* общества, утверждая ту или иную нравственную идею. В этом образе многие черты деформированы и гипертрафированы – чтобы что-то воспеть или что-то проклясть в общественном явлении или процессе.

Что мы в результате получили при развитии нашего обществоведения на этой траектории? Мы пришли к такому положению, что Запад, при всех его провалах и кризисах, обеспечил постоянное снабжение государства и общества беспристрастным, *инженерным* обществоведческим знанием. А уж как им пользоваться – это решают «потребители» (политики, администраторы, общественные деятели, предприниматели и обыватели), исходя из своих ценностных представлений.

Пример – западная (почти исключительно американская) советология. Когда знакомишься с ее материалами, испытываешь уважение к качеству знания, которое советологи получали о нас: скрупулезно, ответственно, достоверно. Если заказчик требует: найдите в СССР такую социальную общность, которую можно использовать как таран против советского государства, – разворачивается серия больших и глубоких проектов совершенно научного типа. Этнологи начинают комплексные исследования потенциально пригодных этнических обществ, уходя вглубь истории как минимум на два века. Другие исследуют субкультуры российского и советского преступного мира, третьи – научную и гуманитарную интеллигенцию. Работают замечательные специалисты и по Достоевскому, и по Михаилу Булгакову; в Гарвардском университете целыми группами изучают «Собачье сердце», на все лады трактуя образы и Шарикова, и профессора Преображенского.

Изучат социокультурные особенности российских шахтеров в разных условиях с конца XIX века и напишут монографию. А в закрытой аналитической записке скажут: вот идеальный контингент для создания в момент ослабления государства таких-то и таких-то кризисов. Выводы делаются с высокой точностью. И ведь большая часть таких монографий и даже часть этих докладов находились в СССР в спецхране, но наши советские обществоведы не видели в них никакой прикладной ценности и не верили выводам. Не владели методологией, чтобы понимать их смысл.

Так же работают междисциплинарные центры прикладного обществоведения для решения политических проблем в любой части мира. Заказчик ставит задачу: как свергнуть президента Маркоса на Филиппинах? Проектные группы начинают изучать филиппинское общество, его историю, культуру, современные веяния, и выбираются лучшие альтернативы. Устраивают революцию типа «оранжевой» – собираются у ворот воинских и полицейских частей толпы красивых девушек в нарядных платьях, с цветами и улыбками, они бросают цветы солдатам, поют им, лезут на грузовики. И прежде надежные и безжалостные карательные отряды режима отказываются применять силу против таких демонстрантов. Всеобщее ликование – демократия победила, но надо было установить, что именно такой способ будет эффективен на Филиппинах (а в Южной Африке или Чили – совсем другой). Это блестящие

инженерные разработки на основе научного обществоведения. Что могло этому противопоставить советское государство? Нашим специалистам даже расшифровать подобные разработки было трудно, потому что у нас так не работали.

Вспомним недалекую историю. В 1960-е годы СССР переживал очень сложный период. Страна выходила из состояния «мобилизационного социализма». Это очень трудная задача – одна из самых сложных операций. Ее провели очень плохо, заложили в обществе массу «мин». Общество переживало кризис урбанизации – большинство населения за очень короткий срок стало городскими жителями. Люди переезжали в города, резко меняли образ жизни, приспосабливались к другому производству и быту, другому пространству. Массы людей испытывали тяжелый стресс, одновременно происходила смена поклонений. Общество быстро менялось и усложнялось, эти процессы надо было быстро изучать, находить новые социальные формы, чтобы снизить издержки трансформации. Но обществоведение методологически не было готово к решению этих задач, и страна скользила к обширному кризису, который превратился в системный.

Видный социолог Г.С. Батыгин писал: «Советская философская проза в полной мере наследовала пророчески-темный стиль, приближавший ее к поэзии, иногда надрывный, но чаще восторженный. Философом, интеллектуалом по преимуществу считался тот, кто имел дар охватить разумом мироздание и отождествиться с истиной. Как и во времена стоиков, философ должен был быть знатоком всего на свете, в том числе и поэтом... В той степени, в какой в публичный дискурс включалась социально-научная рационализированная проза, она также перенимала неистовство поэзии».

«Пророчески-темный стиль» присущ натурфилософии, можно сказать, *социальной алхимии*, а не науке. Такое обществоведение было не в состоянии интеллектуально овладеть созревающим кризисом, проблематизировать реальность и нарабатывать жесткое «инженерное» знание. Попытки противостоять кризису, перераставшему в катастрофу, не были обеспечены социальными технологиями, основанными на знании научного типа.

Обострение кризиса произошло в 1980-е годы, когда к власти пришли люди нового поколения и нового культурного типа. Начали рушиться скрепы, которые соединяли общество в 1970-е годы. Важные структуры советского строя не выдержали, произошел срыв, с которым руководство не справилось и своими действиями усугубило ситуацию.

В советском обществе с 1960-х годов вновь оживился проект, альтернативный советскому, который раньше был подавлен, почти искоренен. Постепенно он осваивался, укреплялся, накапливал силы. В 1980-е годы выкладывались уже готовые доктрины, и *в этих* условиях люди бросились к обществоведам: объясните, что происходит?

Здесь обнаружилась несостоятельность советского обществоведения, которое не смогло ни объяснить причин социального недомогания, ни предупредить о грядущем кризисе. Эта беспомощность была такой неожиданной, что многие видели в ней злой умысел, даже обман и предательство.

Конечно, был и умысел – против СССР велась холодная война, геополитический противник ставил целью уничтожение СССР и всеми средствами способствовал нашему кризису. Но наш предмет – то общее непонимание происходящих процессов, которое парализовало защитные силы советского государственного и общественного организма. Это непонимание есть прежде всего следствие методологической слабости нашего обществоведения. Оно пользовалось негодными инструментами.

Неолиберальная утопия

Итак, несостоятельность российского (прежде – советского) обществоведения была вызвана прежде всего слабостью *научной* компоненты знания в этой сфере.

Уточним. Слово «*научное*» в приложении к обществоведению – это краткое метафорическое определение. Слишком сильно объект исследования в обществоведении отличается от объектов исследования в «жесткой» науке. Строго говоря, речь идет о компоненте обществоведения, в которой рассуждения, наблюдения и «эксперименты» ведутся *рационально*, согласно *некоторым нормам научного метода*.

Слабость научной компоненты объяснялась историческими условиями развития нашего обществоведения по типу натурфилософии – исходя из холистического и нравственного видения общественных проблем, которое было присуще русской классической литературе и немецкой классической философии. Такое развитие привело к тому, что методологически очень слабой оказалась та компонента знания об обществе, которая в сложном индустриальном обществе стала играть роль ядра всей системы знания в обществоведении.

Система знания обладает большим разнообразием. Поэтому уже в момент зарождения современной науки как нового мощного способа познания и организации знаний встал вопрос об отношении научного знания к иным его формам. Вопрос этот стоял в обеих плоскостях: является ли знание, не отвечающее критериям научности, полезным ресурсом для самой науки? Должна ли наука как источник знания мирно сосуществовать с ненаучным знанием – или ее миссия заключается в его вытеснении на обочину массового сознания как представления, неадекватного реальности?

Дебаты по первому вопросу начались на первом же этапе Научной революции. Декарт был сторонником максимально полной и строгой формализации научного знания, отсеивая все, что не поддается кодификации и доказательству. Другие видели в этом требовании формализации ограничение научного метода.

Впервые эту мысль достаточно полно развернул Лейбниц в своей полемике с Декартом, который считал, что каждый шаг в дедукции требует хотя бы сжатого доказательства. В действительности Евклид иногда отказывался от доказательства. Если бы он откладывал разработку теорем и проблем до тех пор, пока все аксиомы и постулаты не будут доказаны, то геометрии не было бы еще и сегодня. Поэтому отказ от доказательства, отсрочка осуществления наиболее строгих требований – это условие возможности прогресса в познании.

Это значит, что научное ядро знания не может существовать без обширной периферии, состоящей из правдоподобных допущений, которые принимаются на веру на основании интуиции и опыта. Обществоведение нуждается в такой периферии гораздо больше, чем такая строгая наука, как геометрия.

Мне довелось много лет работать бок о бок с замечательным ученым и мыслителем Т.А. Айзатулиным (1939–2002). Он был мощным генератором идей, глубоко продумывал их и быстро пробегал в уме множество ситуаций, с перебором множества факторов. Он – действительный автор многих плодотворных концепций в химии, океанологии и экологии, а после 1990 года – в обществоведении. Но он так строго относился к своим аргументам и выводам, что сопровождал свои умозаключения огромным числом оговорок и уточнений, которые постоянно дополнял.

Поэтому его тексты, отвечающие канонам научности, было очень трудно читать. Каждое утверждение сопровождалось отступлением, которое начиналось со слов: «Если только не...» – и далее следовал целый трактат о влиянии какого-то нового фактора. Многие (если не большинство) идеи Т.А. Айзатулина выходили в свет и принимались сообществом в *переложении* коллег, которые заменяли строгие оговорки и уточнения художественными мета-

форами или общими утверждениями. Они создавали «ненаучное» обрамление научных идей и таким образом помогали им пробиться в жизнь. И он, и его коллеги выполняли разные, но необходимые части работы.

Этот опыт показал мне, как важна целостная система знания, обладающая разнообразием когнитивных инструментов. В истории науки тенденция к установлению доминирующего положения научного знания и дискриминации других элементов всей системы вызвала глубокий конфликт. На защиту такой целостной системы выступил еще Гёте, попытавшийся совместить холизм натурфилософии с аналитической силой ньютоновской науки. Он ратовал за *полноту сознания*, которая требуется, чтобы познать сущность вещей и явлений. Гейзенберг писал: «Гёте опасался естественнонаучной абстракции и отшатывался от ее беспредельности потому, что ощущал, как ему казалось, присутствие в ней демонических сил и не хотел подвергаться связанной с этим опасности. Он персонифицировал эти силы в образе Мефистофеля».

Гёте считал важным источником знания *чувственное* восприятие деятельности, сопряженное с художественным восприятием. Он писал, что при каждом внимательном взгляде на мир мы уже теоретизируем. По словам Гейзенберга, он «был убежден, что отвлечение от чувственной реальности мира, вступление в эту беспредельную сферу абстракции должно принести с собой гораздо больше дурного, чем доброго».

Гёте в этом конфликте потерпел поражение, и научная абстракция на целый исторический период стала доминировать как метод в системе знания. Гейзенберг признает: «Мир, определенный ньютоновской наукой, мир, которого Гете надеялся избежать, стал нашей действительностью, и понимание того, что партнер Фауста тоже приложил к этому руку, только усугубляет наши трудности. Но приходится, как всегда, мириться с этим... К тому же мы еще далеко не достигли конца этого пути».

В настоящий момент, тем более в сфере обществоведения, мы на этом пути достигли распутия. Позиция постмодернизма несравненно радикальнее, нежели у Гете, и надо готовиться к тяжелым интеллектуальным дебатам. При этом постмодернизм оказывает особо сильное влияние именно на познавательный процесс именно в обществоведении, гораздо сильнее, чем в «жесткой» науке.

XX век преподавал уроки и породил надежды. Гейзенберг сказал: «Дьявол, с которым Фауст заключил опасный союз, не окончательно овладел нашим миром». Современная аналитическая философия, в общем, пришла к выводу, что «никаких резких и однозначных границ между наукой и вненаучными формами духовной деятельности просто не существует».

Проблема взаимодействия научного и вненаучного знания (и метода) гораздо лучше изучена в «жесткой» науке, чем в обществоведении, но основные идеи и выводы имеют достаточно общий характер. Поэтому мы изложим эту проблему, привлекая наглядный материал, накопленный в истории и методологии науки. Аналогии с теми ситуациями, которые возникают в обществоведении, достаточно ясны...

Сейчас в России, вслед за Западом, взят курс на создание «общества знания». В общепринятом кратком определении понятия «общество знания» подчеркивается формулировка Д. Белла, согласно которой признак этого общества – «решающее значение кодифицированного теоретического знания для осуществления технологических инноваций». Поскольку понятие «технологическая инновация» включает в себя и социальные технологии, это определение равноценно утверждению, что теоретическое знание имеет «решающее значение» для *жизни* этого общества.

Соответственно, все другие формы знания занимают в этом обществе подчиненное положение и контролируются теоретическим знанием. Оно становится высшим арбитром, легитимирующим все стороны жизни общества. Выходит, идет сдвиг к обществу «знания, а не совести», – в нем отдается приоритет *эффективности* (силе), которую обеспечивает

знание. Это – ситуация мировоззренческого выбора, откат к временам Научной революции и ревизия всего проекта Просвещения. Ведь суть Научной революции XVII века и состояла в *освобождении* знания от этических ценностей, которые тогда формулировались в основном на языке религиозных представлений. Вебер писал: «В прошлом основными формирующими жизненное поведение элементами повсюду выступали магические и религиозные идеи и коренившиеся в них этические представления о долге».

Тенденция к подавлению рациональным знанием тех форм сознания, которые оперируют этическими ценностями, породила глубокий конфликт и на Западе, и в обществах, которые испытывали модернизацию. Как писал Вебер, «несомненной фундаментальной особенностью капиталистического частного хозяйства является то, что оно рационализировано на основе строгого *расчета*, планомерно и трезво направлено на реализацию поставленной перед ним цели». Запад стал осознавать себя исключительно через идеи и формы научного и технического происхождения. Антропологи видели в этом признак нарастающего кризиса индустриальной («техноморфной») цивилизации.

Господство «инструментального разума» в общественном сознании западного общества в послевоенные годы вызывало все более острую критику. Примером ее служит известный труд 1947 года «Диалектика просвещения» Т. Адорно и М. Хоркхаймера. По их мнению, те формы, которые приняла рационализация сознания, влекли к утрате обществом способности к разумному обоснованию целей. «Дух расчетливости», на который указал Вебер, подавлял различие моральных ценностей.

Невозможность «уловить» ценности научным методом – едва ли не важнейший вывод философии науки. При этом ученые активно привлекаются всеми политическими силами для поддержки именно *ценностных* суждений. Перестройка в СССР дала для этого красноречивые свидетельства, и примером служит деятельность А.Д. Сахарова как идеолога. Конфликт в когнитивной сфере породил и социальный кризис в интеллигенции, вплоть до распада профессиональных сообществ.

Конрад Лоренц писал: «Ценности не могут быть выражены в количественных терминах естественных наук. Одна из наихудших аберраций современного человечества заключается во всеобщей уверенности, будто то, что нельзя измерить количественно и не может быть выражено на языке “точных” естественных наук, *не существует в реальности*; так отрицается характер реальной сущности того, что включает в себя ценности, и это отрицает общество, которое, как прекрасно сказал Хорст Штерн, *знает цену всего и не знает ценности ничего*».

Конфликт между научным знанием и этическими ценностями носит фундаментальный характер и потому является постоянным предметом обществоведения. Виднейшие философы рационализма подчеркивают, что научное знание никак не может иметь «решающего значения» для *жизни* общества. Оно занимает в этой жизни свое очень важное, но ограниченное место.

Продолжая мысль Канта и Шопенгауэра, Витгенштейн писал: «Мы чувствуем, что даже если даны ответы на все возможные научные вопросы, то наши жизненные проблемы еще даже и не затронуты».

Речь вовсе не идет о том, чтобы поддержать попытки «реванша этики», вытеснить рациональное мышление из пространства его приложения. Проблема в том, что в любом обществоведческом исследовании или анализе ценностные и научные (автономные от ценностей) категории и критерии являются необходимыми инструментами познания, но лежат в разных плоскостях. Нельзя устранить ни одну из этих частей когнитивной структуры, но нельзя их и смешивать в одном мыслительном акте.

М. Вебер писал об опасности для социальных наук смешения инструментов этики и научной методологии: «Для последней все дело только в том, что значимость моральных

императивов в качестве нормы с одной стороны и значимость истины в установлении эмпирических фактов – с другой находятся в гетерогенных плоскостях; если не понимать этого и пытаться объединить эти две сферы, будет нанесен урон одной из них».

Но развитие этого конфликта привело к тому, что рационализм «репрессирует» другие виды сознания, деформируя всю систему интеллектуального и духовного освоения реальности. П. Фейерабенд пишет: «Либеральные интеллектуалы являются также “рационалистами”, рассматривая рационализм (который для них совпадает с наукой) не как некоторую концепцию среди множества других, а как базис общества. Следовательно, защищаемая ими свобода допускается лишь при условиях, которые сами исключены из сферы свободы. Свобода обеспечена лишь тем, кто принял сторону рационалистской (т. е. научной) идеологии».

Надо обратить внимание на очень важное уточнение К. Лоренца: установка рационализма *совершенно законна в научном исследовании*. Ее разрушительное воздействие на оснащение ума сказывается именно тогда, когда ум «выходит за стены научной лаборатории» – когда речь идет об осмыслении реальных, целостных проблем жизни. Эти проблемы не являются ценностно нейтральными и не укладываются в формализуемые модели, предлагаемые «кодифицированным теоретическим знанием». Подход к жизненным проблемам с чисто научным мышлением может иметь катастрофические последствия.

В. Гейзенберг подчеркивает важную мысль: нигилизм, т. е. резкое снижение статуса этических ценностей, может привести не только к рассыпанию общества, беспорядочному броуновскому движению потерявших ориентиры людей. Результатом может быть и *соединение* масс общей волей, направленной на безумные цели. Ценностный хаос преобразуется «странными» аттракторами в патологический порядок.

Гейзенберг пишет: «Характерной чертой любого нигилистического направления является отсутствие твердой общей основы, которая направляла бы деятельность личности. В жизни отдельного человека это проявляется в том, что человек теряет инстинктивное чувство правильного и ложного, иллюзорного и реального. В жизни народов это приводит к странным явлениям, когда огромные силы, собранные для достижения определенной цели, неожиданно изменяют свое направление и в своем разрушительном действии приводят к результатам, совершенно противоположным поставленной цели. При этом люди бывают настолько ослеплены ненавистью, что они с цинизмом наблюдают за всем этим, равнодушно пожимая плечами. Такое изменение воззрений людей, по-видимому, некоторым образом *связано с развитием научного мышления*».

Часто стараются затушевать принципиальный характер проблемы, концентрируя внимание на *приложениях* науки в виде *технологий*. Как пишет физик и философ П. Ходгсон, «может возникнуть оппозиция к науке... вследствие неумения различить собственно научное знание как таковое, которое всегда есть добро, от его приложений, которые не всегда осуществляются в согласии с высшими человеческими ценностями».

Тут нельзя не вспомнить саркастическую реплику Ницше: «“Где древо познания – там всегда рай”, – так вещают и старейшие, и новейшие змеи».

Такое стереотипное разделение науки и техники неверно в принципе. Связь между ними очень глубока и неразрывна, различить, что из них первично, а что – приложение, не всегда возможно, да это и несущественно. Наука и сама по себе есть *техника*.

Но положение и в обыденном смысле невозможно спасти таким уходом в сторону технологий. Все больше и больше фактов говорят о том, что и *знание как таковое* не всегда есть добро, поэтому мораль накладывает все более жесткие ограничения на научный *эксперимент*. Он с самого начала был назван «допросом Природы под пыткой» – так как же можно претендовать на свободу такой операции от моральных норм?

Сейчас, например, никто не станет настаивать на ценностной нейтральности чисто научных экспериментов на человеке, наносящих ему вред. Между тем в 90-х годах XIX века

хирурги пересаживали кусочки удаленной раковой опухоли в здоровую грудь пациентки и с интересом наблюдали, как возникает новая опухоль. И другие ученые заявляли в дебатах на международных научных конгрессах, что, хотя неэтично делать такие операции без согласия находившихся под наркозом пациентов, столь же неэтично игнорировать полученные ценные результаты.

В 1993 году в европейской прессе широко обсуждались извинения, которые президент Клинтон принес жертвам экспериментов по радиоактивному облучению, проводившихся в США с 1940-го по 1970-е годы. Он не призывал к перестройке своей «империи зла», а извинился за своих предшественников и предложил финансовую помощь тем пострадавшим, кому еще можно помочь. Из *тысяч* пострадавших были выделены жертвы девяти экспериментов; приведем некоторые из них:

- беременным женщинам (числом 820) в клинике университета Вандербильта в 1940-е годы сделали инъекции радиоактивного железа; в те же годы в клинике университета Рочестера шести пациентам был введен радиоактивный уран;

- в 1946-47 годах в трех клиниках 18 человекам были сделаны инъекции радиоактивного плутония; в 1948 году в Калифорнийском университете одному человеку ввели радиоактивный цирконий; в 1942-46 годах в трех университетах 29 пациентов были объектом радиоактивного облучения всего тела;

- в клиниках Массачусетса вплоть до середины 1960-х годов сотням умственно отсталых детей давали в экспериментальных целях радиоактивный йод; в 1956–1957 годах в лабораториях ВВС вводился радиоактивный йод-120 испытуемым – индейцам и эскимосам;

- с 1950 года по 1970 год в университете Цинциннати и других центрах полному облучению организма были подвергнуты сотни пациентов; с 1963 года по 1973 год у 131 заключенного в тюрьмах штатов Орегон и Вашингтон облучению были подвергнуты половые органы. Опыты проводились без согласия испытуемых.

Более того, не только эксперименты, представляющие собой вторжение в объект, вызывающие его существенное изменение, но даже и наблюдения и измерения далеко не всегда являются ценностно нейтральными. Ибо неотъемлемой частью «общества знания» является сообщение информации, превращение ее в отчуждаемое от автора знание. Исследователь, подобрав упавший с пиджака волос, определяет и обнаруживает генетический профиль человека. Налицо лишь появление некоторого нового знания о данном объекте, но оно может резко изменить жизнь человека (например, страховая компания не желает иметь с ним дела из-за повышенного риска преждевременной смерти; даже если результат сообщается лишь самому человеку, он небезобиден – прогноз воздействует на состояние человека).

Чем больше человечество втягивается в «информационное общество», тем большее значение для жизни каждого приобретает *информация* – просто знание, до его приложения. Поэтому ни *свобода познания*, ни *свобода сообщений* вовсе не могут считаться абсолютным («естественным») правом. На них всегда и в любом обществе накладывается *цензура*, иначе никакое общество в принципе не может существовать (критерии и формы запретов – другая тема, которой мы здесь не касаемся).

Особой сферой жизни общества, в которой разделение научного знания и этики чревато массовыми страданиями, является *хозяйство*. Политэкономия заявила о себе как о части *естественной науки*, как о сфере познания, свободной от моральных ценностей. Она не претендовала на то, чтобы говорить, что есть добро, что есть зло в экономике; она только непредвзято изучала происходящие процессы и старалась выявить объективные законы, подобные законам естественных наук. Отрицалась даже принадлежность политэкономии к «социальным наукам». Эта установка прочно вошла в мировоззрение западного общества уже в начале XX века. Например, видный социолог из Йельского университета Уильям Сам-

нер писал: «Социальный порядок вытекает из законов природы, аналогичных законам физического порядка».

Этот дуализм западной политэкономии, разделившей знание и этику, в принципе отрицался русскими социальными философами и экономистами. В попытке разделить этику и знание в экономике Вл. Соловьев видел даже *трагедию* политэкономии. Западные основатели политэкономии, разумеется, не отрицали нравственной стороны в действиях людей, но строили теоретическую модель экономики, выводя эти стороны реальности за рамки модели (применяя метод научной абстракции). Они предупреждали, что *их* политэкономия неприложима к хозяйственным системам, в которых отношения между людьми в слишком большой степени выходят за рамки купли-продажи (а такие хозяйственные системы действуют во всех незападных странах).

Только тяжелейший кризис западной экономики в конце 20-х годов прошлого века на время отодвинул в сторону рационалистическую догму экономической науки – произошла «кейнсианская революция». Английский экономист и философ Кейнс не переносил в экономику механические метафоры и, главное, не прилагал метафору атома к человеку. Кейнс отрицал методологический индивидуализм – главную опору классической политэкономии. Он считал атомистическую концепцию неприложимой к экономике, где действуют «органические общности», – они не втискиваются в принципы детерминизма и редукционизма. Более того, Кейнс даже отрицал статус политэкономии как естественной науки, на котором так настаивали его предшественники, начиная с Адама Смита. Он писал: «экономика, которую правильнее было бы называть политической экономией, составляет часть этики».

Кейнс относился к тому типу экономистов, которых называли *реалистами*, – видел мир, не сводя к упрощенным абстракциям (типа человека-атома, рационального индивида, *homo economicus*). Он поставил под сомнение главный аргумент идеологии – апелляцию к естественному порядку вещей, к «природным» законам общественной жизни. Кейнс не только вскрыл методологическую ловушку, заложенную в самом понятии «естественный», но и отверг правомерность распространения этого понятия на общество.

В конце 50-х годов, когда завершилась послевоенная структурная перестройка экономики Запада, начался откат к механистической модели политэкономии. «Консервативная волна» вывела на передний план теоретиков неолиберализма и монетаризма. Давление на кейнсианскую модель и «социальное» государство нарастало. Собственнический индивидуализм все больше доминировал в культуре. Установки неолибералов были во многом более радикальны, чем взгляды Адама Смита. Вновь была подтверждена полная автономия от этических ценностей. М. Фридман декларировал: «Позитивная экономическая теория есть или может быть объективной наукой в том же самом смысле, что и любая естественная наука».

Поразительный всплеск «рационалистического фундаментализма» наблюдался в конце XX века в СССР, элита которого впала в неолиберальную утопию. Н. Амосов писал: «Точные науки поглотят психологию и теорию познания, этику и социологию, а следовательно, не останется места для рассуждений о духе, сознании, вселенском Разуме и даже о добре и зле. Все измеримо и управляемо».

Способы и пределы соединения этики и знания – большая философская проблема, выходящая за рамки нашей темы. Радикальное разделение этих двух пространств духовной деятельности человека – специфическое свойство западной культуры Нового времени. Мировоззренческая база незападных культур, воспринявших европейскую науку, давала возможности соединить этические запреты с научным исследованием так, что заметного ущерба аналитической силе знания это не наносило (примерами может служить и русская, и индийская или японская наука).

Так, Н.Н. Моисеев писал о воздействии сохранившихся в русской культуре элементов «космического мировоззрения» на когнитивные (познавательные) установки ученых:

«Такое философское и естественнонаучное представление о единстве Человека и Природы, об их глубочайшей взаимосвязи и взаимозависимости, составляющее суть современного учения о ноосфере, возникло, разумеется, не на пустом месте. Говоря это, я имею в виду то удивительное явление взаимопроникновения естественнонаучной и философской мысли, которое характерно для интеллектуальной жизни России второй половины XIX века. Оно привело, в частности, к формированию умонастроения, которое сейчас называют русским космизмом.

Это явление еще требует осмысления и изучения. Но одно более или менее ясно: мировосприятие большинства русских философов и естественников, при всем их различии во взглядах, – от крайних материалистов до идеологов православия – было направлено на отказ от основной парадигмы рационализма, согласно которой человек во Вселенной лишь наблюдатель. Он существует сам по себе, а Вселенная подобна хорошо отлаженному механизму и действует сама по себе, по собственным своим законам. И то, что в ней происходит, не зависит от Человека, от его воли и желаний. Такова была позиция естествознания XIX века. Так вот мне кажется, что уже со времени Сеченова в России стало утверждаться представление о том, что человек есть лишь часть некоей более общей единой системы, с которой он находится в глубокой взаимосвязи».

Неявный диалог с присущим западному обществу субъектно-объектным отношением к природе происходил в русской философской мысли с момента переноса европейской науки в Россию. Вл. Соловьев писал в конце XIX века: «Цель труда по отношению к материальной природе не есть пользование ею для добывания вещей и денег, а совершенствование ее самой – оживление в ней мертвого, одухотворение вещественного. *Способы* этой деятельности не могут быть здесь указаны, они составляют задачу *искусства* (в широком смысле греческой «*техне*»). Но прежде всего важно отношение к самому предмету, внутреннее настроение и вытекающее из него направление деятельности. *Без любви к природе для нее самой нельзя осуществить нравственную организацию материальной жизни*».

Он как будто заранее отвечал Ясперсу, который в 1949 году дал категорическое утверждение: «Техника – это совокупность действий знающего человека, направленных на господство над природой; цель их – придать жизни человека такой облик, который позволил бы ему снять с себя бремя нужды и обрести нужную ему форму окружающей среды».

Как показала вся история науки, *знание – сила*. А накопление *силы* какой-то социальной группой, организацией или даже личностью не может быть процессом, свободным от моральных ценностей. И чем больше эта сила, тем опаснее ее претензия на автономию. Это противоречие – важная сторона кризиса индустриализма. Уже в ходе Научной революции ее идеологи отмежевались от *традиции*, от всего корпуса накопленного в ней и выраженного на ее языке знания.

«Никогда не принимать за истинное ничего, что я не познал бы таковым с очевидностью... включать в свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и столь отчетливо, что не дает мне никакого повода подвергать это сомнению», – писал Декарт. В том, что отвергает Декарт, одним из важнейших блоков как раз является знание, записанное в традиции, – оно не познается с очевидностью и не является полностью ясным и отчетливым.

Если по отношению к этическим ценностям Научная революция означала *разделение* («развод» между наукой и религией, в ведении которой и оставались моральные ценности), то традиционное знание *подавлялось* как пережиток. На опасность такого односторонне рационального сознания обращали внимание многие мыслители. Уже Ницше точно подметил, что развитая культура «должна дать человеку двойной мозг, как бы две мозговые камеры: во-первых, чтобы воспринимать науку и, затем, чтобы воспринимать ненауку; они

должны лежать рядом, быть отдельными и замыкаемыми и исключать всякое смешение; это есть требование здоровья».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.